

# Идеология, социальная наука и революция<sup>1</sup>

АЛАСДЕР МАКИНТАЙР

## I. ИДЕОЛОГИЯ И ПОЗИТИВИЗМ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ



НАЧАТЬ эту статью хотелось бы с постановки целого ряда вопросов различной степени сложности. Я рассмотрю их посредством анализа спора между двумя персонажами, которых в зависимости от предпочтений можно считать или идеальными типами, или соломенными чучелами. Одного из них я назову «позитивистом», другого — «теоретиком идеологии». Позитивист<sup>2</sup> полагает, что объективное научное исследование способно дать знание об обществе подобно тому, как оно может дать знание о природе. Теоретик идеологии<sup>3</sup> обвиняет позитивиста в том, что тот пребывает в иллюзии; он доказывает,

1. Перевод выполнен по изданию: © MacIntyre A. *Ideology, Social Science, and Revolution // Comparative Politics*. April 1973. Vol. 5. No. 3. Special Issue on Revolution and Social Change. P. 321–342.
2. Сравните данные работы, написанные в духе позитивизма: *Kolokowski L. The Alienation of Reason*. NY, 1968; *Habermas J. Knowledge and Human Interests*. Boston, 1972, с работой Ричарда Руднера: *Rudner R. The Philosophy of Social Science*. Englewood Cliffs, 1966. Далее сравните все эти труды со следующим исследованием: *Morgenbesser S. Is It a Science? // Sociological Theory and Philosophical Analyses/D. Emmet, A. MacIntyre (Eds.)*. London, 1970. P. 20–35.
3. Сравните изложение теории идеологии и социологии знания в следующих работах: *Marx K., Engels F. The German Ideology/W. Lough, C. Dutt, C. P. Magill (Trans.), C. J. Arthur (Ed.)*. NY, 1970; *Marx K. The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte // Marx K. Selected Works*. Moscow, 1962; *Lukacs G. History and Class Consciousness*. London, 1971; *Goldman L. The Hidden God*. NY, 1966; *Mannheim K. Ideology and Utopia*. London, 1936; *The Sociological Study of Ideology/N. Birnbaum (Ed.)*. Oxford, 1962, с такими разнообразными критическими работами, как: *Popper K. The Open Society and Its Enemies*. London, 1966; *Bell D. The End of Ideology*. NY, 1960; *MacIntyre A. Against the Self-images of the Age*. NY, 1971.

что наше знание об обществе неизбежно искажено убеждениями и концепциями, отражающими интересы господствующей социальной группы. На первый взгляд эти позиции кажутся несовместимыми. Но если поразмыслить, то окажется, что все обстоит совершенно иначе. Чтобы позиция теоретика идеологии, критикующего позитивиста, была последовательной, он должен быть готов показать свою способность отличить те элементы в позитивистских теориях, которые обязаны своим существованием идеологическому вмешательству, от тех, которые обладают статусом истинного знания. Если он не может сделать этого, то как может он выдвигать свой изначальный тезис? Если же он способен идентифицировать и различить два типа элементов, то значит он находится в ситуации сущностного согласия с позитивистом. Ведь теоретик идеологии заявляет о своей способности отделить идеологически зараженные элементы от всех остальных элементов теоретизирования. Таким образом, он притязает на обладание методом получения аутентичного знания; теоретик идеологии, согласно своим же представлениям, оказывается не иначе как более успешным и утонченным позитивистом. Это отсылает нас к одному из моментов истории позитивизма.

Позитивистское движение<sup>4</sup> началось с провозглашения тезиса о том, что истинное понимание, даруемое объективным научным исследованием, способно освободить нашу мысль от искажений религиозными, метафизическими или социальными предрассудками. То есть позитивист изначально описывал — и имплицитно продолжает делать это по сей день — себя как успешного и искушенного теоретика идеологии. Таким образом, после внимательного рассмотрения каждая из позиций превратилась в свою противоположность; наше первое впечатление оказалось иллюзией. Почему это так, увидеть не трудно. Тезисы о галлюцинациях, иллюзиях, искажениях и тому подобном могут выдвигаться лишь с позиции, считающей возможным проведение четкого разделения между галлюцинаторной, иллюзорной или искаженной формой восприятия/мысли, с одной стороны, и истинными восприятиями реальности или строгими неискаженными размышлениями и разысканиями — с другой. Чтобы идентифицировать идеологическое искажение, необходимо самому не быть его жертвой. И, как представляется, позиция привилегированного ускользания от подобных искажений подразумевается всякий раз, как подобные искажения обнаруживаются у других.

Но насколько основателен такой вывод? Неужели теория идеологии оказывается возможной лишь на основе эпистемологического самодовольства? (Можно, конечно, заметить, что

4. *Hazard P. European Thought in the Eighteenth Century. Cleveland; NY, 1963.*

подобная этическая позиция, вне всяких сомнений, существует, она очевидно проглядывает из сочинений как некоторых теоретиков идеологии, так и некоторых позитивистов. Данная позиция, подобно всяким другим формам самодовольства, вызывает неминуемые возражения.) Можно ли утверждать, что идеологическое искажение неотъемлемо от любого исследования общества? Может быть, нам не суждено от него избавиться, ну или в лучшем случае это возможно лишь на время и то отчасти? Но если все так, то откуда у нас знание об этом? Как можно идентифицировать и понять искажения общественной мысли без того, чтобы не позиционировать себя в качестве исключения из подобной практики повсеместного искажения?

Так я сформулировал изначальные вопросы. В процессе ответа на них я собираюсь выработать концепцию того, как соотносятся идеология и социальные науки. Свою позицию я буду излагать в несколько этапов. Во-первых, я опишу тот тип понимания общества, который есть у рядовых акторов. Во-вторых, я опишу тот тип понимания общества, к которому стремятся обществоведы. В-третьих, я попытаюсь показать те трудности, нестыковки и искажения, с которыми сталкиваются рядовые акторы. Сделано это будет с целью развертывания четвертого заключительного этапа изложения моей позиции: я постараюсь ответить на вопрос о том, может ли социальная теория, руководствуясь идеалами объективного знания, надеяться на освобождение от трудностей, нестыковок и искажений донаучного понимания.

## II. СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ РЯДОВЫХ АКТОРОВ

Один и тот же набор телесных движений может обозначать совершенно разные человеческие действия. Поцелуй Иуды Искариота как телесное движение неотличим от иных поцелуев; поцелуй Иуды Искариота как действие есть особый сигнал и опознавательный знак. Также верен и тезис о том, что одно и то же человеческое действие может быть воплощено в совершенно разных телесных движениях. Иуда мог идентифицировать Иисуса и указать на него стражам за счет тыканья пальцем, за счет говорения или же за счет целого ряда других жестов. Описать подобное действие, значит сделать нечто иное, чем просто описать телесное движение. Это верно даже тогда, когда описание действия так же близко к описанию телесного движения, как в случае с фразой «он кивнул головой»<sup>5</sup>.

5. *Anscombe G. E. M. Intention. Oxford, 1958; Hampshire S. Thought and Action. London, 1959; Bernstein R. J. Praxis and Action. Philadelphia, 1971.*

Для того чтобы идентифицировать действие как нечто отличное от телесного движения, необходимо понять то намерение, которое было заложено в действие, а также тот смысл, который актер придает тому, что он делает. (Разворачивание подобного анализа на должном философском уровне потребует, во-первых, полного понимания того, что значит делать нечто намеренно. При последующей аргументации можно привести один важный пример: актер может полагать, что его действие соответствует некоторому описанию, которому оно действительно соответствует, например: «Он поинтересовался о здоровье ее матери»; но при этом он может не предполагать, что его действие будет соответствовать и иному описанию, например, «Он обидел ее». Случайное условие может быть таково, что вопрос о здоровье матери оказывается инсинуацией, о чем сам говорящий не имеет ни малейшего представления. Можно привести еще много иных примеров, требующих отдельного рассмотрения. Во-вторых, тут потребуются осмысление отношения текущего намерения к будущему акту, отношения подобного намерения к намерениям, воплощенным в текущих действиях, а также отношения как одного, так и другого к использованию понятия «намеренно» в противоположность понятию «случайно» или «по ошибке».) Однако любое действие может быть описано по-разному, некоторые описания могут вообще не предполагать никакого намерения. На вопрос «что он делает?» можно ответить следующим образом: «он копает», «сажает латуковые саженцы», «заботится о том, чтобы у них был достаточный источник получения витамина С», «делает то, что сказала жена», «выполняет предписанные ему двадцатиминутные упражнения», «убивает время до открытия», «зарабатывает деньги», «перегружает свое сердце», «использует неправильные инструменты для работы». Корректность любого из этих высказываний вполне совместима с корректностью всех и каждого конкретного высказывания.

Можно выделить три ключевые черты каждого подобного набора описаний действия. Во-первых, сам актер при осмыслении того, что сам он делает, может отводить (а может и нет) главное место одному из этих описаний. Некоторые самоинтерпретации будут как минимум имплицитно присутствовать во всех его действиях; но то описание, которое актер эксплицитно предлагает, будет варьироваться в зависимости от того, кому этот отчет предлагается, и в той степени, в какой он сам считает себя подотчетным (в смысле необходимости дать ответ на вопрос «Что ты делаешь?») перед различными людьми. Дело в том, что действие находится в различных отношениях к различным (иным) актерам — например, к жене актера, его работодателю,

его доктору, его сопернику; действие оказывается многоликим. Таким образом, вычленив одно описание как то самое описание действия, вокруг которого упорядочиваются все остальные действия, значит сделать определенной ситуацию, которая сама по себе может и не являться таковой<sup>6</sup>.

Действие зачастую приобретает определенность, если оно случается в контексте социальной практики или института, несущего в себе определение действия и его последствий. Так, действие, подобное ходу в шахматах или же голосованию на выборах, оказывается определенным на уровне шахмат или политики. Но подобная институционализованный ситуация есть лишь крайний пример, демонстрирующий одну черту, до некоторой степени присутствующую в каждом действии. Актеры никогда не могут выразить намерение, воплощенное в их действиях, или же характеризовать их как-то иначе, целиком на эгоцентричный манер. Общественной природы языка уже достаточно для того, чтобы этого не допустить. Каждый отчет актора о своих действиях уже содержит в себе имплицитную отсылку к устоявшимся критериям. Для того чтобы действие было тем, за что его принимает сам актер, оно должно быть таким, чтобы все остальные могли конструировать его точно таким же образом. Но станут ли они это делать? И кто эти остальные? Диапазон описаний, с помощью которых актер может представить себе свое действие, определяет диапазон актеров, которые потенциально могут быть затронуты его действием. То, как он его видит, отчасти ограничено его верой в то, как его будут рассматривать другие. Институционально же определенное действие — это действие, которое является максимально ограниченным.

Вторая решающая черта, связанная с описаниями действия, — это логическая неотделимость намерений актора от его верований. Отвоз овцы на рынок предполагает целый набор верований, касающихся экономики и сельского хозяйства; покушение на тирана — целый набор политических верований. Для того чтобы актер и окружающие его люди рассматривали действие актора одинаково с ним, требуется некоторая общность верований. Но в сообществе может наблюдаться огромное разнообразие верований. Именно поэтому и возникает задача — сделать так, чтобы действия других стали для нас понятными. Следовательно, как было предположено ранее, наши верования относительно наших действий, верования, на которые наши действия опираются, всегда имеют частью своего содержания эксплицитные или имплицитные отсылки к тому, что другие думают от-

6. *MacIntyre A. Praxis and Action // Review of Metaphysics. June 1972. XXV. P. 737–766.*

носительно наших действий, а *fortiori*<sup>7</sup> к тому, что другие думают относительно того, в чем заключаются наши верования. Но все еще сложнее. Наши действия выражают наши верования, включая и наши верования в то, в чем заключаются верования других относительно наших действий и верований, но их верования также затронуты нашими верованиями относительно того, что мы считаем их верованиями, в том числе и их верованиями в то, что является нашими верованиями.

Таким образом, «то самое» действие, о котором рассуждают столь многие теоретики, не может быть идентифицировано отдельно от верований актора и тех, с кем этот актер взаимодействует, а также от действий этих других. Один из способов понимания этой мысли — это ее представление в понятиях драматургических и нарративных форм, в свете которых как мы, так и все окружающие постоянно переструктурируем наши жизни. Эти формы делают наши действия понятными не только в отношении того, что было прежде, но и в отношении будущих возможностей. Крайне важно тут заметить, что действие может быть ответом не только на то, что ему непосредственно предшествовало, но и (иногда одновременно) на любой другой момент во вспоминаемом прошлом. Более того, любое данное действие или цепь действий могут быть расположены в любом количестве исторических последовательностей из вспоминаемого прошлого актора, так что разные черты этого действия могут быть ответами или же продолжениями совершенно разных прошлых.

Производство драматургических и нарративных форм, благодаря которым мы делаем наши действия понятными нам самим, а также окружающим, есть, безусловно, совместное предприятие<sup>8</sup>; в жизни, как и в литературе, степень, в какой *dramatis personæ*<sup>9</sup> сотрудничают в выстраивании сюжетной линии, варьируется в зависимости от социальной обстановки. Но в жизни, в отличие от литературы, характеры — это авторы, и каждый пытается понять поведение всех остальных действующих лиц в рамках своего собственного сценария, включая сюда понимание и того поведения, которое является выражением воли других понять его поведение в рамках уже своих собственных сценариев.

Таким образом, общественная жизнь представляет собой ряды исторически уникальных взаимосвязанных метанарра-

7. тем более (лат.). — Прим. пер.

8. Garfinkel H. *Studies in Ethnomethodology*. Englewood Cliffs, NJ, 1967. Chap. 2; Goffman E. *The Presentation of Self in Everyday Life*. Edinburgh, 1956. Chaps. 2, 6; Righter A. *Shakespeare and the Idea of the Play*. London, 1962. Chap. 3.

9. действующие лица (лат.). — Прим. пер.

тивов, неотъемлемой чертой которых является попытка понимания, совершаемая каждым актором. Каждый актер обладает своим сценарием, картой, программой, посредством которой он управляется с общественной реальностью. Я использую слова «сценарий», «карта», «программа» взаимозависимо, так как мне бы хотелось остаться нейтральным среди отнюдь не полностью тождественных метафор. В дальнейших своих размышлениях я буду говорить об акторе как о том, кто обладает теорией. Преимущество использования слова «теория» в том, что оно позволяет привлечь внимание к одному ключевому аспекту деятельности актора по поиску понимания. Время от времени он будет сталкиваться с фактами, кажущимися ему расходящимися с той теорией, которой он придерживается. В этом случае он будет оказываться перед альтернативами: попытаться продолжить жить с противоречиями; попытаться пересмотреть факты, чтобы согласовать их со своей теорией; пересмотреть свою теорию, чтобы сделать ее соответствующей фактам; наконец, просто оставить свою теорию. Таким образом, его положение ничем не отличается от положения ученого, который сталкивается с фактами, несовместимыми с разделяемой прежде теорией.

Прежде чем перейти к дальнейшему рассмотрению данного пункта, требуется ввести еще одну дополнительную деталь, имеющую отношение ко всей дискуссии в целом. Верования могут выражаться не только действиями, проистекающими исключительно из воли индивидуальных акторов, но также и теми действиями, которые являются предписанными для некоей социальной роли. Верования, которые предполагаются намерениями, воплощенными в роли, могут не просто отличаться, но даже противоречить верованиям индивида, которому довелось исполнять роль. Данные соображения могут быть проиллюстрированы через рассмотрение того, как Французская коммунистическая партия (ФКП) превратилась из революционной партии в реформистскую.

В 1944 году ФКП была воюющей партией, которая со всей уверенностью ждала поражения Гитлера, за которым должно было последовать установление революционизированного общественного порядка. Данные ожидания совмещались с планами временного сотрудничества с буржуазными антифашистскими партиями, а также с генералом Шарлем де Голлем. Когда на первых порах холодной войны коммунистические министры утратили свои позиции во французском правительстве, план революционного действия был подчинен требованиям советской внешней политики и, следовательно, военным атакам на НАТО, кульминацией чего стали мятежи, отметившие прибытие в Париж в 1951 году генерала Мэтью Риджвея. После того



как эти усилия потерпели крах, ФКП в основном переключилась на профсоюзную деятельность, а ключевыми коммунистическими активистами стали те, кто или был, или стал профсоюзным деятелем.

Роль профсоюзных деятелей достаточно любопытна. Во время встреч переговорщиков из профсоюзов с представителями работодателей, на которых обсуждались вопросы зарплаты — данные встречи стали регулярной, иногда ежегодной повседневностью промышленной жизни Западной Европы в 50–60-е годы — у первых происходит смена перспективы, становящейся обратной той, которую можно было бы ожидать от марксистов. Чтобы оправдать требования роста зарплат, деятели профсоюза должны были доказать, что конкретная фирма или же целая индустрия вполне могли себе позволить как рост зарплат, так и сохранение необходимых инвестиций в индустрию, способных гарантировать ее развитие и стабильность (что было необходимо для обеспечения будущей занятости рабочих). То есть они настаивали на том, что данная конкретная часть капитализма является в высшей степени жизнеспособной. Представители же работодателя в свою очередь заявляют о том, что их компания или индустрия в целом не в силах позволить себе повышение зарплат одновременно с адекватным инвестированием. То есть они начинают подвергать сомнению жизнеспособность этой конкретной части капитализма. Таким образом, верования, вытекающие из официальной позиции, представляемой деятелями профсоюзов, могут — как это видно на примере ФКП и профсоюзов Генеральной конфедерации труда — полностью противоречить верованиям этих деятелей как индивидов.

В данной конкретной ситуации реформистская роль заместил революционного индивида. Конечно, существовал гораздо более долгий и сложный ассимиляционный контекст, частью которого и был данный процесс; нет никаких оснований утверждать, что верования, свойственные роли, в случае конфликта всегда возьмут верх над верованиями индивида. Но мы также должны отметить, что активист ФКП оказался перед необходимостью поместить свои действия в контекст целого ряда совершенно различных нарративных историй. На одном уровне был нарратив его собственной биографии как коммунистического активиста (сопоставьте жизни христианского аскета и ту роль, которую играет в ней празднование и культ жизней святых, с той ролью, которую играет в жизни коммуниста празднование и культ жизни Ленина или же тех активистов, которые были застрелены во время противостояния). На этом же уровне есть нарратив его биографии профсоюзного деятеля, кото-



рая включает продвижение по службе, перечень удач и провалов, сумму пособия и, наконец, отставку.

Есть также более крупные нарративы, с которыми увязано большее число индивидов: история французского коммунистического движения и поствоенная история французской экономики. Со всем этим переплетены воспоминания о детстве, юности, женитьбе, отцовстве или материнстве, старении, а также встречи с религией. Нарративы романтической любви, а также обращения к Богу или утраты веры могут вообще стать самыми важными нарративами из всех.

Каждое действие каждого активиста оказывается согласованным и определенным на уровне одного или нескольких нарративов, на остальных же уровнях оно — как результат целого ряда различных типов интеракций — вполне может породить некоторый диссонанс. Следовательно, его теоретическое понимание своей собственной жизни и ее общественного структурирования может получить подтверждение на одном уровне и не получить его на другом. И все это будет происходить одновременно. Зачастую для поддержки достаточной согласованности потребуются очень ловкое маневрирование.

Все это верно применительно к каждому из нас. Верно также и то, что на протяжении большей части наших жизней мы оказываемся не осведомлены о сложности и уровне навыков, требуемых для соответствия возлагаемым на нас требованиям. Лишь в особые моменты осознание этого приходит к нам: когда мы влюбляемся; когда мы попадаем в совершенно новую социальную среду (поступаем в колледж, приходим на совершенно новую работу, попадаем в чуждую нам культуру); когда мы оказываемся перед необходимостью обманывать тех, кто нас окружает, в каком-то очень важном вопросе (романы о тайных агентах популярны в силу того, что в нашей жизни мы все нередко оказываемся тайными агентами); когда ход наших жизней прерывается некоторым событием, которого мы не ожидали и, конкретнее, некоторым событием, благодаря которому мы понимаем — прочие люди рассматривали нас и интерпретировали наши действия совсем не так, как мы того ожидали (например, так происходит, когда мы расстаемся с прежней любовью)<sup>10</sup>. Это только самые общие примеры, их можно привести бесконечное количество.

В эти моменты прозрения мы внезапно обнаруживаем природу стратегических и тактических задач, с которыми мы постоянно сталкиваемся, а также смутность и неясность поведения

10. *Goffman E. Strategic Interaction. Philadelphia, 1969. P.19–28; Proust M. A la Recherche du temps perdu. Paris, 1956.*

тех, кто нас окружает и с кем мы связаны. Следовательно, моменты нашего самопознания совпадают с моментами, когда мы признаем факт нехватки наших знаний о других. Не есть ли это основополагающая черта социальной ситуации рядовых акторов, то есть всех нас? Может ли дело обстоять лучше? Этот вопрос я собираюсь разобрать ниже.

### III. ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ РЯДОВЫХ АКТОРОВ

Каков эпистемологический статус верований и социальной теории рядовых акторов? На мой взгляд, верования и теории такого рода акторов подвержены серьезным ограничениям в двух смыслах. Каждый из них вытекает из описанных выше особенностей их социального положения.

Во-первых, есть внутренняя сложность, связанная с необходимостью описывать действия других на целом ряде совершенно различных уровней. Одна проблема заключается в том, что не всегда можно понять, какой именно набор описаний применить для осмысления данного конкретного поведения; ведь внешне одно и то же поведение может быть выражением совершенно различных верований, намерений, отношений и эмоций. Именно эту истину отказывается признавать бихевиоризм любого рода (включая сюда и ужасно звучащий «бихевиорализм» политических ученых). Ложность бихевиоризма становится очевидной, если понять, что одна и та же эмоция может быть выражена разным типом поведения, а одно и то же поведение может быть выражением множества типов эмоций. Например, что если я глубоко возмущен вашим негативным отзывом на мою книгу? Как мне выразить свое негодование? Давайте предположим, что я знаю о вас следующие факты: вы с особым трепетом ждете приглашения на грядущую вечеринку декана; вы бы хотели отведать определенный редкий фрукт; вы очень жаждете того, что ваша резолюция будет принята на факультетском заседании. Тогда я могу выразить свое негодование посредством следующих действий: перехватить почту; выкупить весь урожай редкого фрукта; голосовать против вас на заседании; или же, наконец, выразить свое негодование хорошо известными действиями — зарезать вас на улице или избить (это действие может быть приемлемым, а может быть и нет, тут все зависит от социальной среды). Но обратите внимание на то, что все эти действия могут быть совершены мной и без всякого негодования. Например, я могу быть мотивирован благодарностью какому-то третьему лицу, книге которого вы дали негативный от-

зыв; тогда я могу совершить по отношению к вам все или некоторые из этих действий, не выражая никакой ненависти (к вам лично), а лишь благодарность тому, кто меня об этом попросил. Таким образом, внешне одно и то же поведение может соответствовать целому ряду разных описаний, знание о которых окажется недоступным любому, кто выводит свои знания исключительно из наблюдений за внешним поведением<sup>11</sup>.

Вторая сложность при описании действий других возникает в том числе и тогда, когда мы знаем, какой именно набор описаний применить к характеризруемому поведению. Ведь даже в этом случае мы не можем с точностью сказать, какие описания и в каких условиях имеют для актора первостепенную значимость, а какие — второстепенную. Действия актора могут быть корректно описаны как «садоводство», «физические упражнения», «нервирование своей жены путем делания того, что кажется ей пустой тратой времени», но в зависимости от обстоятельств эти описания могут быть упорядочены совершенно по-разному. Актер может совершать одно действие намеренно, а все прочие — лишь случайно; или же он может совершать одно действие, чтобы совершать еще одно или даже все из перечисленных. Или же ни одно из этих описаний может не иметь преимущества над другим. И вновь простое наблюдение за поведением не расскажет о том, какая именно из альтернатив является верной.

Третья сложность в понимании действий других отчасти является следствием первых двух. Следствием постулированных двух сложностей может быть то, что актер займет агностицистскую позицию по отношению к другим, это будет единственным рациональным выходом. Допустим, что это так. Но даже если это единственно возможная рациональная реакция, для большей части рутинных обстоятельств она не является возможной. Львиная доля наших намерений, целей, отношений и эмоций есть реакция на то, что мы считаем намерениями, целями, отношениями и эмоциями других. Если мы не будем постоянно приписывать другим намерения, цели, отношения и эмоции, то мы не узнаем, как выстраивать нашу собственную стратегию. Позиция агностика будет блокировать нас в тех ситуациях, когда действие неизбежно. Следовательно, мы просто принуждены к тому, чтобы вменять и приписывать другим действия, намерения, мотивы, цели, смыслы, отношения и эмоции, которые никогда не будут подтверждены свидетельствами. Результаты этого вменения и приписывания, в свою очередь, будут влиять

11. *MacIntyre A. Emotion, Behavior and Belief // Idem. Against the Self-Images of the Age.*

на наши действия и намерения; но когда они приведут к одному из описанных выше типов недопонимания, прочие акторы, вовлеченные в обмен действиями, могут этого и не понять. Соответственно, другие тоже могут нас не понять, приписав нам большее знание и большую рациональность, чем есть на самом деле. Если кому-то эти три соображения покажутся недостаточными, то я позволю себе еще заметить, что человеческая жизнь исполнена притворством, иронией, ложью, шутками — все это лишь способствует умножению ошибок. С этим я завершаю первую часть моих размышлений, касающихся эпистемологических ограничений, влияющих на точку зрения рядовых акторов.

Теперь, абстрагировавшись от сказанного выше, я хотел бы отметить существование двух решающих ограничений, которые накладываются на способность прогнозирования рядовых акторов. Первое из них вытекает из того элемента в веровании акторов, которое касается верования в верования других, включая сюда и верования в верования других о том, каковы наши верования и действия. Давайте рассмотрим любую ситуацию, когда акторы пытаются привести ситуацию к исходу, кажущемуся им наиболее благоприятным. При этом они знают, что все остальные также пытаются совершать действия, которые считают наиболее для себя благоприятными, при этом, естественно, каждый считает наилучшим исходом какой-то свой вариант. Подобные ситуации могут быть названы своеобразной теоретической игрой. В них ни один актер не может налагать ограничения на варианты развития событий, возникающие за счет размышлений всех остальных. Никто не может делать гарантированные прогнозы. Предположим, будет выдвинуто следующее возражение: в таких ситуациях мы можем наблюдать закономерности в поведении окружающих, именно эти закономерности и станут фундаментом для формулирования обоснованных прогнозов. На это мы ответим следующее — подобного рода закономерности могут быть использованы для обмана с того самого момента, как они становятся прослеживаемыми. Каждый разведчик, равно как и каждый игрок в покер, знает это.

Во-вторых, существует известный феномен самоподтверждающегося или самоопровергающегося прогноза, то есть прогноза, шансы которого на то, чтобы оказаться верным или ложным меняются после его озвучивания или публикации. Во время рецессии промышленные менеджеры могут попытаться спрогнозировать сроки восстановления, и от подобных прогнозов будут зависеть их решения, касающиеся найма технически квалифицированных работников. Но если окончание рецессии будет спрогнозировано должным числом менеджеров и если на основе этих прогнозов будут приняты решения, то сам

факт прогноза может стать фактором, который положит рецессии конец и тем самым делает прогноз верным. Следовательно, рациональное прогнозирование в подобных обстоятельствах возможно лишь в совокупности с прогнозированием поведения других менеджеров. Но в силу того, что взаимоотношения между менеджерами и компаниями строятся на конкурентной основе, важные источники информации, как правило, оказываются в закрытом доступе; таким образом, рациональное прогнозирование может оказаться невозможным. Однако менеджер все же должен планировать свое расписание, он должен, рационально или нет, но прогнозировать и принимать то или иное решение. Еще раз: принятые в обществе императивы действия не соответствуют возможностям рациональности.

Данная проблема касается общественной жизни как таковой, а не только игровых теоретических ситуаций, к которым я до сих пор апеллировал. Для общественной жизни характерны еще три черты, которые делают невозможным научное прогнозирование будущего общества. Первая черта была выделена Карлом Поппером применительно к фундаментальным научным изобретениям. Например, чтобы предсказать изобретение колеса, необходимо его описать; но суметь описать, по факту значит уже изобрести. Там, где речь идет о базовых концептуальных инновациях, предсказание невозможно, так как для предсказания требуются новые концепты, которые еще только должны быть выработаны. Это верно не только для технологии, но и для всех фундаментальных прорывов мысли. Написание «Критики чистого разума», проповедь лютеранской доктрины оправдания одной лишь верой или же исполнение блюза Бадди Болдена так же непредсказуемы, как и изобретение колеса. Но обратите внимание, что это верно не только для выдающихся изобретателей, но также и для большинства рядовых акторов. Никто не может предсказать то, что заменит его собственную концептуальную рамку. Это значит, что для многих акторов большая часть происходящего должна оставаться непредсказуемой. Отсюда два вывода: что-то конкретное, происходящее не для всех, является непредсказуемым, но для всех таковым является большая часть происходящего.

Дальнейшее размышление таково: для каждого актора тот элемент будущего, который должен быть определен его собственными решениями, но который ими еще не определен, остается непредсказуемым. Было бы неправильным утверждать, что если предполагается, что каждый актер должен рассматривать свое собственное будущее как неопределенное и непредсказуемое, то будущее всех остальных должно рассматриваться им как определенное и предсказуемое. Непредсказуемость касает-

ся не только собственного будущего каждого актора, ведь оно зависит от его собственных, еще не принятых решений, но также и будущего всех остальных акторов, так как последствия еще не принятых решений коснутся жизни всех вокруг. В силу того, что степень влияния этих решений на жизнь окружающих будет зависеть от того, какие именно это будут решения, то данная степень влияния также оказывается непредсказуемой. Таким образом, индивид должен рассматривать в качестве непредсказуемого не только свое собственное будущее, но также и будущее всех тех, с кем он вступает в общественные отношения.

Наконец, нельзя сбрасывать со счетов влияние целого ряда малых факторов, которые никак не могут быть спрогнозированы. Как Паскаль, так и Дж. Б. Бьюри утверждали — длина носа Клеопатры сыграла решающую роль в основании Римской империи. Решение немецкого генерала Стафа позволить Ленину отправиться в Россию в запломбированном вагоне часто приводится в качестве примера того, как якобы незначительное событие оказывается фатальным. Во время битвы при Ватерлоо именно неправильные решения маршала Нея вполне могли оказаться фатальными для кампании Наполеона; но в тот день под Неем было убито девять лошадей — кто мог предсказать этот фактор, который мог сильно повлиять на принимаемые им решения?

Истинность вышеприведенных суждений очевидна, однако социальные теоретики пока еще не готовы принять тот факт, что удивление сопровождает нас большую часть жизни, за основополагающую черту человеческого существования. Сказать это — значит сказать, что обобщения, на которые мы опираемся, все время дают сбой. Мы не можем отказаться от опоры на обобщения, мы не можем отказаться от фиксированных ожиданий. Но тот факт, что наши обобщения столь часто дают сбой, есть свидетельство того, что мы никогда не можем быть уверены в их точности. Не можем мы также с рациональной уверенностью отличить случаи, когда явное исключение из одного из наших вынужденных обобщений доказывает его ложность, от случаев, когда исключение является лишь видимым, но не реальным. То есть возникновение, сохранение и изменение наших повседневных верований и их бытования в общественной жизни следует механизмам, по своей сути являющимся донаучными и ненаучными. Это верно в отношении всех нас в нашей повседневности, это верно как для ученых, так и для неученых. Дихотомия между повседневностью и научной деятельностью не должна особо беспокоить представителя естественной науки. Но как быть с обществоведом? Мы знаем, что люди, профессионально связанные с гуманитарными науками, изумлению и не-

удачам подвержены в той же степени, что и все остальные. Психиатры иной раз тоже сталкиваются с распавшимися браками и нервными срывами; антропологи время от времени ожидают исследовательских грантов не меньше, чем меланезийцы ожидают карго; социологи вполне могут демонстрировать девиантное поведение и аномию. Но удалось ли обществоведам как профессии выработать метод понимания общественной жизни, который в силу научной объективности спасал бы их от эпистемологических ограничений, характерных для рядовых акторов? Возможен ли вообще такой метод? Эти вопросы будут рассмотрены в следующем разделе.

#### IV. ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ОБЩЕСТВОВЕДА

Чтобы притязать на то, что эпистемологические ограничения рядовых акторов вас не касаются, необходимо обладать методом описания поведения и формулирования каузальных обобщений, который был бы неуязвимым для этих ограничений. Для достижения этого необходимо сформулировать каузальные обобщения законообразного типа, наподобие тех, что существуют в естественных науках. Возможности естествоиспытателя опираются как минимум на четыре фактора, два из которых являются эпистемологическими, а два — социальными. Первый эпистемологический фактор — наличие критерия, который позволяет нам выделить случаи, когда *prima facie*<sup>12</sup> контрпример, опровергающий сформулированное законообразное каузальное обобщение, должен вести к пересмотру всего лишь масштаба применимости предлагаемого обобщения, а вовсе не к его переформулированию или же полному отрицанию. Например, ограничение масштаба применимости закона о газе, выраженного в уравнении  $PT = K$ . Это уравнение изначально постулировалось как имеющее неограниченное применение, но сегодня мы знаем, что оно не действует, когда условия не являются изотермическими, когда давление высоко, а температура — низка.

Второй эпистемологический фактор — это наличие критерия, позволяющего различать две альтернативы: случаи, когда контрпример к сформулированному законообразному каузальному обобщению должен вести к радикальному изменению формулировки или же к полному отказу от нее, и те случаи, когда контрпример может быть парирован за счет использования

12. с первого взгляда (лат.). — Прим. пер.



некоей вспомогательной гипотезы, которая позволит сохранить наше изначальное обобщение нетронутым. Если мы хотим придерживаться подобной гипотезы, она должна быть подвергнута независимому тестированию; то же самое верно и в отношении контрпримеров к ней. Два социальных условия, необходимых для научной объективности, таковы: во-первых, существование частичного, но не полностью устоявшегося консенсуса среди ученых относительно методов и критериев; во-вторых, поддержание этого консенсуса за счет целого ряда независимых организационных форм, преданных делу роста науки как таковой, а не ее использованию или злоупотреблению в иных целях. Из этих четырех условий четвертое имеет значение и применение, лишь если уже соблюдены первые три; первое условие имеет значение, лишь если имеет силу второе. Далее будет показано, что обществовед не может надеяться на то, что ему удастся когда-либо соблюсти второе или третье условие.

Тестирование законообразных каузальных обобщений было бы невозможным, если бы не существовало тесной логической связки между объяснением и прогнозированием. Протестировать законообразное обобщение — значит выяснить, истинно ли сингулярное суждение о некоем отдельном событии или положении дел, которое в законообразном каузальном обобщении увязывается с другим сингулярным суждением, относящимся к некоему предыдущему событию или положению дел («Если в стандартных условиях случится событие/настанет положение дел А, то тогда случится и событие/настанет положение дел В» или «Событие/положение дел А возникает в стандартных условиях»). Даже если говорить о будущем очень трудно, тестирование обобщения всегда подразумевает тестирование прогноза. Таким образом, если существует ряд прогнозов, которые мы не можем протестировать, то значит, существует и ряд обобщений, которые мы также не можем протестировать. Неспособность прогнозировать подразумевает неспособность объяснить, если только эта первая неспособность не вызвана такими факторами, как неспособность собрать должное количество информации (например, так обстоит дело в метеорологии).

Итак, проблеме стремления обществоведов соответствовать второму условию мы можем обозначить как вопрос о прогностической силе социальных наук. Но давайте прежде напомним о тех ограничениях, которые влияют на прогностическую силу рядовых акторов. Эти ограничения, как было отмечено выше, приводят к существованию значительных жизненных сфер, в которых надежные прогностические обобщения невозможны, и акторам приходится обходиться без них. Но даже в тех сферах, которые остаются, любое обобщение, сделанное актором на основе не-

коей наблюдаемой закономерности, должно принимать следующую форму: «Всякий раз, когда случается событие или же наступает положение дел А, тогда наступает событие или положение дел В, (1) пока размышления вовлеченных акторов не заставят их поменять стратегии своего поведения или (2) пока не вмешаются непредсказуемые факторы, проистекающие из способности акторов к творческой интеллектуальной инновации». Однако обобщение, сформулированное подобным образом, таково, что масштаб его применимости оказывается непознаваемым. Мы не можем знать, на какое количество случаев оно будет простираться, следовательно, мы не можем знать, что будет служить контрпримером к нему. Каждое явное исключение будет открыто для интерпретаций в духе двух указанных поправок; следовательно, никакое реальное опровержение не будет возможным, условия проверяемости оказываются нарушенными. Таким образом, обществовед может надеяться избежать трудностей рядовых акторов, лишь если ему удастся доказать, что он обладает неким способом нивелировать те варианты, которые упоминаются в двух оговорках, при рассмотрении предмета, относительно которого он формулирует свои обобщения. Однако, как показал предшествующий раздел статьи, требовать нечто подобное от обществоведа — значит требовать от него изучения чего угодно, но только не социальной жизни. Следовательно, обществоведы не могут надеяться на удовлетворение второго условия.

Теперь по поводу третьего условия. Из вышесказанного следует, что прогресс в социальных науках не может быть сопоставлен с прогрессом в науках естественных. Прогресс в естественных науках обусловлен рядом более или менее значимых опровержений, открывающих дорогу новым гипотезам<sup>13</sup>. Если наши размышления о контрпримерах в предыдущих параграфах верны, то, значит, подобные опровержения в социальных науках невозможны. Конечно, вполне может существовать прогресс в изучении общества посредством сбора информации, посредством понимания актуальных концептуальных проблем и т. д. Но контраст с естественными науками все же сохраняется. Отсюда следует, что характерный для естественнонаучного сообщества тип рационального консенсуса, касающийся прошлых достижений и будущих горизонтов, для сообщества обществоведов недостижим. Таким образом, если в сообществе обществоведов все же существует консенсус — и до той степени, в какой он существует, — он не будет рациональным, он будет частью чего-то иного, например, академической политики. Следовательно, третье условие также неудовлетворено.

13. *Lakatos I., Musgrave A. Criticism and the Growth of Knowledge. Cambridge, 1970.*

Тут стоит отметить, что обществовед не может надеяться на то, чтобы защитить себя за счет указания на статистический и пробабиллистский характер собственных выводов. Во-первых, если обществовед ограничивает себя простым накоплением статистически значимых корреляций, то он не может претендовать на статус социального теоретика. Статистика права в том, что существование прослеживаемой взаимосвязи между двумя группами переменных позволяет постулировать некоторую каузальную связь между переменными одной группы и переменными другой. Однако между этими двумя группами может существовать бесконечное число возможных каузальных связей; никакое указание на взаимосвязь не поможет понять, какая именно из этих возможностей обеспечивает искомую каузальную связь. Если обществовед притязает на обладание чем-то бóльшим, нежели простая констатация взаимосвязи: на обладание аутентичным пробабиллистическим законообразным обобщением, то тогда, как и ранее, возникает проблема фальсификации и контр-примеров. Настоящее пробабиллистское законообразное (как, собственно, и непробабиллистское каузальное) обобщение должно формулироваться с квантором всеобщности. Оно тестируется путем наблюдения возникновения или же не возникновения релевантного набора событий (а не какого-то отдельного события или же положения дел). Но логические и концептуальные вопросы остаются теми же самыми<sup>14</sup>.

Все аргументы в данном разделе приводились для обоснования тезиса о неспособности обществоведов ускользнуть от тех эпистемологических затруднений, с которыми сталкиваются рядовые акторы при формулировании каузальных обобщений. А как обстоит дело с эпистемологическими ограничениями рядовых акторов в том, что касается описания действий окружающих? Как тут выглядит положение обществоведа? Есть две альтернативы: или обществовед признает то, как рядовые акторы характеризуют свои действия, или же он будет настаивать на своей способности характеризовать их действия так, как это невозможно для них самих, то есть его описания будут превосходить самоописания. Если избирается первый вариант, то тогда обществовед вовлекается во все транзакционные сложности рядовых акторов. Если второй, то тогда он сможет обосновать создание новых описаний действий рядовых акторов, лишь ссылаясь на некую теорию. Но в основе любой подобной теории должен лежать набор аутентичных законообразных каузальных обобщений, последние же, как было указано выше, обществовед сформулировать не может. Следовательно, и в этом смысле пред-

14. Данный тезис, конечно же, нуждается в дополнительном обосновании.

ставитель социальной науки ничего не может сделать с трудностями рядовых акторов, кроме, конечно, тех же попыток борьбы с эпистемологическими ограничениями, которые предпринимаются самими рядовыми акторами в их повседневной жизни.

Хотя рядовой актер и не может устранить эпистемологические ограничения, есть все же один способ перестать быть их жертвой: начать их осознавать. Осознать — это не значит просто признать сам общий факт их наличия. Это значит скорее осознание того конкретного механизма, в силу которого данные ограничения влияют на ту или иную социальную ситуацию, действие или взаимодействие. Подобное осознание подразумевает систематический ответ на несколько вопросов. Какие категории и концепции я использую при интерпретации действий других и при формулировании своих собственных намерений? Как иначе я могу охарактеризовать ситуацию, которой пытаюсь придать определенность и понятность для себя и, вероятно, для окружающих посредством этих категорий и концептов? Можно ли ее охарактеризовать с помощью понятий, отличных от моих и, желательно, логически предшествующих им? Какие критерии я использую, когда определяю, что эти категории и концепции более уместны, чем все остальные? Какой рациональностью я руководствуюсь при использовании данных критериев? Как ответы на все эти вопросы связаны с особенностями моего личного и социального положения? Что в моем положении характерно для актора *как такового*, а что — для актора *особого рода* (понимание этого позволяет мне понимать как других, так и самого себя)?

По поводу данных вопросов и подразумеваемого ими исследования необходимо отметить три пункта. Пункт первый: вопросы не могут быть классифицированы в понятиях любого рода дихотомии, разделяющей философию и эмпирические гуманитарные науки. Конечно, у обеих дисциплин в их общепринятом понимании достаточно наработок, могущих быть использованными для ответа на эти вопросы. Но у данных вопросов есть и своя собственная специфика, возможно, кантовская, возможно, витгенштейнианская, возможно, и та и другая, а возможно — ни одна из них. Отчасти они носят и эмпирический характер. Наблюдений Ирвинга Гофмана, и тем более Гарольда Гарфинкеля, уже достаточно для того, чтобы сильно способствовать ответам на вопросы такого рода. Однако дальнейшая их разработка потребует радикального разрыва с существующими концепциями академического разделения труда.

Второй пункт — изначальный эгоцентризм вопросов вовсе не случаен. Теоретик идеологии, известный со времен Маркса и вплоть до франкфуртской школы,двигающийся по пути медленной деградации от возвышенного до смешного, всегда

искал идеологические изъяны в других, но никак не в себе самом. Именно эта черта делает его по сути неотличимым от своего мнимого оппонента — позитивиста. Согласно же тому подходу, который предлагаю я, мы должны обнаружить идеологические искажения, прежде всего, в самих себе, мы должны научиться жить с ними и пытаться перестать быть их жертвами. Мы не узнаем, до какой степени это возможно, пока не доведем до конца тот тип исследования, который я обозначил.

Третий пункт — важно иметь в виду то, что мы все же *можем* описывать типы социальных ситуаций, хотя часто необходимо скептически относиться к интерпретации конкретного человеческого действия. Собственно, правомерность описательной социологии на определенном уровне просто предполагается теми предпосылками, на которых строятся мои скептические аргументы. Часть этой описательной социологии должна быть посвящена осмыслению того, что на самом деле делает претендующий на объективность обществовед, ведь мои вышеприведенные аргументы показали — он не может делать то, что он сам считает для себя делаемым.

## V. СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ ОБЩЕСТВОВЕДА

Вопросом, проясняющим любую сбивающую с толку форму человеческой активности, может быть следующий: каковы ее реальные плоды? Если задаться вопросом о плодах социальных наук, то едва ли можно быть уверенным относительно того, что же включить в перечень. Но есть как минимум три феномена, которые выделяются хотя бы в количественном отношении: таксономия, прогноз и экспертиза. Не исключено, что исследование этих трех феноменов, а также взаимоотношений между ними, позволит пролить некоторый свет на идеологические изгибы социальной науки.

Начнем с таксономии. Классифицировать — значит упорядочить явления по принципу, соответствующему одному набору теоретических возможностей и не соответствующему другому. Рядовой актер занимается классификацией, так как просто не может этого избежать. Различные люди, практики, институты должны рассматриваться по-разному с разными ожиданиями. Несбывшиеся ожидания заставляют рядовых акторов переосмысливать и изменять свои классификации. Чтобы замещение классификаций рядовых акторов другими классификациями на иных основаниях, нежели несбывшиеся ожидания или же новый опыт повседневности, было легитимным, мы должны располагать типами теории, недоступной для рядовых акторов.

Давайте для примера рассмотрим три уровня, на которых рассматривается феномен смерти. Рядовой актер использует такие категории, как естественная смерть, смерть от несчастного случая, убийство, суицид и т. д. Эти категоризации меняются от общества к обществу, как в смысле используемых концепций, так и в смысле соображений, влияющих на проведение разделительных линий. На другом конце находятся официальные статистические данные национальных государств, сформулированные так, чтобы быть доступными для международных сопоставлений. Здесь мы снова располагаем классификационными схемами и критериями. Но при утверждении официальной статистики, почему бюрократы делают выбор в пользу одного способа классификации, а не другого. Для этого у них есть очевидные *политические* основания. Что именно хотят контролировать правящие группы? Какие изменения кажутся им желательными? Как именно они хотели бы, чтобы их общество рассматривалось? Ответы на все эти вопросы будут влиять на оформление официальной статистической информации. Явная прозрачность датского и явная закрытость российского общества имеет непосредственное отношение к тому, как собирается статистическая информация и как она упорядочивается. (Схемы классификации следует мыслить не как некий абстрактный набор категорий, но как инструмент или даже орудие.) Теперь вопрос: есть ли у нас *интеллектуально* достаточные основания для того, чтобы предпочитать одну классификацию другой?

Таксономические классификации обществоведов занимают среднюю позицию между классификациями рядовых акторов и классификациями чиновников. ИмPLICITно и иногда эксплицитно они притязают на то, чтобы превосходить классификации рядовых акторов. Если бы это было действительно так, то социальные науки могли бы обосновывать, почему официальная статистическая информация должна упорядочиваться именно так, а не иначе. Обществовед тем самым был бы уполномочен давать правительству советы или критиковать его за отказ прислушиваться к ним. Таксономии обществоведа будут подразумевать иные ожидания, а значит и иные прогнозы, отличные от тех, которые дают рядовые акторы. Именно способность предсказывать исход нелинейного события дает право на экспертизу и на государственное консультирование<sup>15</sup>. Но может ли обществовед утверждать, что он обладает такой способностью?

15. Вместе с работами Гарфинкеля и Гофмана следует прочесть еще и такие работы, как: *Downs A. Inside Bureaucracy*. NY, 1967; *Destler I. M. Presidents, Bureaucracy and Foreign Policy*. Princeton, 1972.

Есть два способа ответить на этот вопрос. Первый — посмотреть на тот теоретический фундамент, который для этого требуется. И тут аргументы, приведенные в статье чуть ранее, позволяют сделать однозначный вывод. Некая классификация может притязать на рациональное превосходство над классификациями рядовых акторов, лишь если она опирается на надежную теорию; а надежная теория возможна лишь при наличии перечня настоящих законообразных каузальных обобщений. Собственно, любой прогноз, претендующий на нечто большее, чем донаучность, возможен, лишь если соблюдены все те же условия. Таким образом, уже одни эти размышления свидетельствуют о том, что притязания обществоведа на особые знания лишены оснований.

Но как бы там ни было, любые притязания на обладание некоей способностью могут быть протестированы независимо от всякого знания о том, как эта способность была приобретена и как притязание на ее обладание может быть обосновано теоретически. Притязания на обладание некоей способностью могут быть проверены прагматически, то есть путем исследования успехов или неудач в ее использовании. Действительно ли социальные науки способны давать успешные прогнозы? При попытке дать ответ на этот вопрос сразу же возникают трудности. В отличие, скажем, от ставок на тотализаторе обществоведы не пытаются вести никакого подсчета своих прогнозов, не делают они и никаких публикаций на этот счет. Может быть, мое подозрение и не совсем уместно, но мне кажется, что если бы обществоведам удавались прогнозы, то они точно публиковали бы об этом свидетельства; но, похоже, те прогнозы, которые они делают на публике, все же не очень успешны. Демографические и экономические прогнозы дают достаточное количество примеров. Единственный правдоподобный вывод, который может быть сделан из всего этого, таков: философские аргументы, приводимые нами в доказательство ложности притязаний обществоведов на прогнозирование, недоступное для рядовых акторов, вовсе не увели нас в ложном направлении.

Теперь идеологический компонент самоописаний социальных наук становится очевидным. *Эксперт* — фигура, существование которой столь часто оправдывало финансовое субсидирование социальных наук частными и публичными корпорациями — оказывается мифологическим персонажем. Как и в случае с единокором, обладание особым знанием и социальная значимость сохраняются за ним до тех пор, пока люди в него верят. Притязания экспертов всегда носят следующий характер: его таксономические классификации отражают структуры, определяющие формы социальной и политической жизни недоступ-



ным для рядовых акторов способом; прогнозы экспертов показывают predeterminedность будущего, знание о которой недоступно для рядовых акторов. Таким образом, эксперт, апеллируя к понятию глубинных структур, легитимирует какой-то конкретный способ рассмотрения феноменов общественной жизни в ущерб всем остальным. Некогда на это же притязали пророки и священники. То есть в современных бюрократиях эксперт играет роль, не сильно отличающуюся от роли, которую в традиционных обществах играли пророки и священники. Последние иногда могли апеллировать к своему, якобы, более глубокому пониманию, противоречащему социальному порядку, — эксперт как радикальный критик может также представлять в этой роли. Одна из отличительных черт настоящей идеологической концепции — это ее способность влиять на мышление и поведение тех, кто считает себя бескомпромиссным борцом с ней. Так обстоит дело с концепцией «эксперта». Она всплывает не только в работах ортодоксальных политических или социальных теоретиков; она также фигурирует и в работах их радикальных критиков. Например, «эксперт» настолько же чувствуется у Алвина Гоулднера, насколько и у Сеймура Мартина Липсета. О радикальных движениях в социологии и политической науке мы можем сказать то же, что было сказано Александром Герценом о некоторых из их предшественников: они мнят себя докторами больного общества, на самом же деле они лишь часть симптомов его болезни.

Но как насчет тех, кто противостоит устоявшемуся социальному порядку не просто в академии, но также и в политике — как национальной, так и международной? Как обстоит дело с самой экстремальной из доступных позиций? Я имею в виду позицию революционера.

## VI. СОЦИАЛЬНАЯ И ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ РЕВОЛЮЦИОНЕРА

Я определил позицию обществоведа как идеологическую по самой своей сути. Ввиду того, что это же обвинение в его адрес выдвигает и современный революционер, есть основание считать, что последнему удалось ускользнуть от идеологических искажений, наблюдаемых в случае с обществоведом. Однако это не верно. Сциентизм обществоведов уже давно заразил теорию революции (вспомните фразу Энгельса, произнесенную над могилой Маркса, о том, что Маркс был Дарвином гуманитарных наук). Когда современный революционер критикует «американскую» или «буржуазную» социальную науку, он зачастую апел-

лирует к социальной науке XIX века с целью противопоставить ее науке века XX. Но сила данного обвинения станет ясна, лишь если мы рассмотрим то напряжение, которое существует между социальной ситуацией революционера и его эпистемологическими притязаниями.

Когда я говорю о революционере, я не имею в виду множество современных разгильдяев, притязующих на данное именование. Но даже в этом случае я рискую включить в свое рассмотрение всех тех, кто олицетворяет собой идеальные, с точки зрения критики, типы. Я постараюсь ограничить свой анализ рассмотрением ситуации классического ленинского или троцкистского революционера времен урбанизации или же латиноамериканского революционера типа Че Гевары, встречающегося по сей день.

Социальная ситуация такого революционера имеет пять ключевых черт. Первая — ему приходится класть свою жизнь на алтарь великого дела. То есть он ведет существование, которое можно описать как существование по принципу «все-или-ничего». Подобный образ жизни ни коим образом не является прерогативой одних лишь революционеров. Азартные игроки, авантюристы, преступники, а также почти все шпионы в своих жизнях также руководствуются принципом «все-или-ничего»; их жизнь или свобода поставлены на кон одной великой возможности.

Вторая отличительная черта революционера заключается в том, что ему приходится сочетать в одной жизни две идентичности: революционера и обычного человека, поддерживающего благопристойное социальное существование в сложившейся системе. И дело не только в том, что ему приходится есть, одеваться и жить подобно всем остальным людям (что, конечно, тоже значимо). Дело в том, что он должен производить на власть впечатление человека, не представляющего для нее никакой угрозы. В истории каждой революционной группы есть периоды, когда она может быть легко сокрушена, если выяснится, что от нее исходит угроза. Следовательно, в жизни тех, чья социальная идентификация покоится на совсем иных основах, преданность делу революции должна казаться безобидной эксцентричностью. Заметим, что удовлетворение этого условия гораздо легче совмещается с революционной активностью, чем того можно было бы ожидать: успешный революционер не может позволить себе не иметь консервативных нравственных убеждений. Отсутствие пунктуальности, дезорганизация, слишком распущенная сексуальная жизнь и богемное существование не только наносят социальному порядку оскорбление более явное, чем революционер может себе позволить, они также ставят под угрозу

систематическую революционную работу (как, впрочем, и любую другую работу).

Необходимость рассматривать свою активность как имеющую всемирно-историческое значение составляет третью характерную черту революционера. Одно из средств убедить себя в значимости делаемого было описано Марксом и Энгельсом в работе «Восемнадцатое брюмера»: необходимо отождествить себя с одной из прежних революционных фигур и рассматривать свои собственные действия как повторение событий из их жизней. Мельчайшие троцкистские группы могут представлять свои фракционные споры как повторение великих споров в партии большевиков. Подобные важные события в истории иногда случаются дважды, и то, что это повторение не будет фарсом, составляет веру, существенную для жизней многих революционеров.

Бросающееся в глаза несоответствие между непосредственной незначительностью большей части его действий и апокалипсисом, который он несет, делает жизнь революционера достаточно хрупкой. Это понимал Джозеф Конрад; понимал это и Генри Джеймс; на свой лад создавал это и Троцкий. Следовательно, потребность в оправдании своих революционных верований всегда актуальна, а привязанность революционера к теории, которая дает ему необходимое оправдание, просто обязана содержать элемент фанатичности. По этой причине привязка революционера к своей теории становится парадоксальной.

Условием оправданности жизни революционера является гарантированность его прогнозов относительно хода истории и, конкретнее, результатов его собственных действий. Более того, условие, которое делает теорию революционера рациональной, это ее фальсифицируемость; в самой основе рационального теоретизирования лежит требование того, чтобы поиск контрпримеров был его неотъемлемой частью. Однако это требование находится в явном противоречии со стремлением революционера сделать прогнозы, вытекающие из его теории, явью.

Это же напряжение я уже отмечал в жизнях промышленных менеджеров, которые пытаются спрогнозировать будущее, чтобы на основе своих прогнозов принимать решения, которые, по сути, и приведут к тому будущему, которое они пытаются прогнозировать. Нужда в прогнозировании в случае менеджера по случайным социальным причинам выходит за пределы возможностей рационально гарантированного прогнозирования, точно также дело обстоит и с революционером. Иррациональность, с которой он сталкивается, повторяет иррациональность, с которой сталкиваются сторонники устоявшегося порядка. Данный повтор связан с тем, в какой степени рево-

люционный теоретик фактически перенимает идеологические структуры своего оппонента. Самое важное тут то, что вопросы и притязания первого делают его фактическим интеллектуальным аналогом ортодоксального обществоведа. Последний, например, притязает на свою способность идентифицировать необходимые и достаточные условия для производства или же поддержания социальной стабильности; революционный теоретик, в свою очередь, притязает на свою способность идентифицировать необходимые и достаточные условия для разрушения подобной стабильности. Идентифицировать то, что является функциональным для некоторой структуры, и то, что является для нее дисфункциональным, логически есть одна и та же задача. На глубинном интеллектуальном уровне ортодоксальный обществовед и революционный теоретик оказываются одним и тем же социальным типом.

Следовательно, нет ничего удивительного в том, что у первого и второго в социальном плане есть столько общего. Обратите внимание, как часто революционные теоретики, ортодоксальные обществоведы и промышленные менеджеры оказываются выходцами из одних и тех же социальных групп. Но даже более важной является их общая преданность идеологии экспертизы. Притязание на научное понимание вытекает не только из одних и тех же интеллектуальных допущений по ту сторону от линии, отделяющей революционера от устоявшегося порядка, но еще и из параллельного элитизма. Эксперт, будь то профессиональный обществовед, промышленный менеджер или же революционер, притязает на особую роль консультанта и на особое право оставаться на позиции, которая позволяет ему выступать в роли консультанта. Идеология экспертизы воплощает собой притязание на привилегию в отношении власти.

Все это не только делает современного революционера антидемократичным, но еще и отчасти объясняет его антипатию к демократии. Он может разоблачать элитизм своих оппонентов; но сам он остается заложником концептуальных схем, с которыми революционер не в силах расстаться, так как они существенно значимы в деле оправдания очень шаткого его существования. Пока он сам не откажется от этих схем, он не сможет избавиться от того элитизма, который критикует в других.

Эпистемологическая самоуверенность опасна не только интеллектуально, но еще и политически. Диагностировать эту черту, равно как и понять нечто о той болезни, симптомом которой она является, есть та задача, которую я ставил перед собой в данной статье.

*Перевод с английского Дмитрия Узланера*